ДЕНИС ГРОМОВ



КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ТОМ 1

Денис Громов

Культурный слой

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Культурный слой / Д. Громов — «Тайниковский», 2026

Археолог Глеб Седов погибает под завалом в 2026-м — и приходит в себя в 1971 году, в теле шестнадцатилетнего Кости Рябинина. Мальчик был замешан в незаконных раскопках кургана и погиб, а в его кармане — золотой скифский олень, за которым охотятся и милиция, и криминальные дельцы. Теперь Глебу нужно выжить в чужой жизни: притвориться школьником, распутать клубок музейных подмен, спасти древний курган от бульдозера — и не влюбиться в девочку с косами и чернильным пятнышком на пальце. Но главное — он должен понять: это не просто чужое тело. Это чужая жизнь, которую кто-то оборвал слишком рано. И теперь Глеб — единственный, кто может довести до конца дело, начатое мальчиком по имени Костя.Детектив в декорациях советской провинции, история о второй жизни и о том, что земля помнит всё. Даже то, что мы хотели бы забыть.

© Громов Д., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 18
Глава 4 25
Глава 5 32
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Денис Громов
Культурный слой

Глава 1

Ростов-на-Дону, четверг, 14 мая 2026 года. Стройплощадка на Левом берегу.

Прораба звали Артуром, и за три недели я так и не выяснил, есть ли у него отчество. На раскопе он появлялся дважды в день: утром - с кофе в бумажном стаканчике, после обеда - с планшетом, где светился график сдачи котлована. Красная полоса на экране ползла вправо, и Артур искренне считал, что виноват в этом лично я.

- Глеб Андреич, ну какие ещё две недели? - он развернул ко мне экран. - В понедельник заходит сваебойка. Техника стоит, люди стоят. Вы представляете, сколько стоит смена?

Представлял. За сорок полевых сезонов этот монолог звучал при мне столько раз, что я мог бы исполнить его вместо Артура, с правильными паузами и тем же обиженным лицом. Менялась только валюта. В девяностые прорабы считали в долларах, в нулевые - в рублях с тремя нулями, теперь вот в сменах.

Я стянул перчатку и показал на тёмное пятно в зачищенном борту траншеи.

- Видите, где заканчивается жёлтый суглинок? Вот это бурое, с прожилками, - заполнение входной ямы. Под пятым корпусом у вас катакомба. Бронзовый век, середина третьего тысячелетия до нашей эры. Её надо доснять, расчистить камеру и задокументировать. Иначе застройщик получит предписание, а вы - штраф, рядом с которым ваша сваебойка покажется семечками.

Артур наклонился к пятну, словно надеялся разглядеть в нём ценник.

- Грязь какая-то.

- Грязи этой четыре с половиной тысячи лет, - я натянул перчатку обратно. - Её туда насыпали люди. Руками, корзинами. Пока вы строите свой паркинг, у меня есть время до них докопаться.

- До понедельника успеете?

Вопрос был нечестный, и мы оба это знали. По-хорошему, катакомбу надо было вскрывать неделю, с креплением стенок и нормальным водоотливом. Только эти работы застройщик не оплатил. Смета на охрану памятника прошла через три кабинета и вернулась ко мне ощипанной, как курица к Новому году. Студентов у меня было двое, лопат пять, а вместо водоотлива - ведро с верёвкой.

- Успеем, если не будете мешать.

- Я? Мешать? - Артур даже отступил на шаг. - Я вам вчера воду привёз, две бутыли!

- За воду спасибо. А в понедельник пришлите вместо сваебойки экскаваторщика потрезвее. Ваш нынешний позавчера чуть не снёс мне репер.

Артур ушёл довольный. Он всегда уходил в хорошем настроении: у прорабов профессиональная способность слышать только последние слова фразы.

Миша и Аня сидели на краю траншеи и пили из одной бутылки тёплую газировку. Обоим по двадцать, оба пятый курс, оба третью неделю ночуют в вагончике бок о бок с бетономешалкой. Аня сгорела ещё в первые дни и теперь работала в моей старой панаме, которую я когда-то привёз из Тувы. Панама была ей велика и съезжала на нос.

- Глеб Андреич, мы правда к понедельнику? - Миша смотрел на меня с тем недоверием, которое у студентов появляется к концу третьей недели. - Там же ещё метра полтора до дна ямы.

- Метр сорок, - поправил я. - Если повезёт, завтра к обеду выйдем на свод камеры.

- А если не повезёт?

- Тогда к ужину.

Аня засмеялась и сдвинула панаму на затылок. Хорошая девочка, внимательная, с правильными руками. Через десять лет из неё получится толковый полевик, если её раньше не съест какая-нибудь контора по экспертизам, где платят втрое больше и не надо спать рядом с бетономешалкой.

До шести мы выбрали из ямы ещё сантиметров сорок. Заполнение шло ровными линзами: сначала тёмная гумусная прослойка, потом выкид из самой ямы, жёлтый с серыми комками. На сороковом сантиметре Аня нашла кусок охры размером с грецкий орех и полчаса не могла успокоиться. Охра - хороший знак. Значит, мы рядом с погребением, а не в пустой хозяйственной яме.

В шесть я отпустил ребят. Работать в траншее глубже трёх метров втроём было уже тесно, а вдвоём, без меня, по технике безопасности нельзя. В эти правила я, честно говоря, верил примерно как в гороскопы, но студентов на них гонял исправно. Ответственность за чужих детей - единственное, что за сорок лет так и не стало для меня рутиной.

- А вы? - Аня задержалась у лестницы.

- Сниму профиль и тоже пойду.

- Вам же нельзя одному.

- Мне много чего нельзя, - я махнул ей рукой. - Кофе, сало, ругаться с начальством. Иди уже.

Она ушла, оглядываясь.

Солнце сползало к Дону, и по дну траншеи тянуло сырым холодом. Неделю назад здесь два дня лил дождь, борта до сих пор не просохли. Суглинок на срезе был влажный, тёмный, и вода из него проступала мелкими каплями, как пот. Я отметил это машинально, как отмечают погоду, и спустился в яму.

Профиль я так и не снял.

На дне ямы, у самой западной стенки, из заполнения торчал край чего-то светлого. Сначала я принял его за камень, потом присел и понял, что это кость. Нижняя челюсть, детская или подростковая, с зубами, лежала сбоку от входа в камеру. Так в катакомбах иногда хоронили второстепенных покойников - у порога, как сторожей.

Ну вот. Камера ближе, чем я рассчитывал.

Я взял кисть, совок и потерял счёт времени. Это со мной случалось всегда, сколько себя помню. Жена в шутку называла это «уйти в слой». Наденька умерла шесть лет назад, и шутить об этом стало некому, а уходить в слой я не перестал.

В кармане завибрировал телефон. Я вытащил его грязными пальцами и посмотрел на экран. Вера.

Дочь звонила мне раз в месяц, по воскресеньям, ровно в восемь вечера, и разговор каждый раз занимал одиннадцать-двенадцать минут. Я как-то засёк. Сегодня был четверг.

Палец уже потянулся к зелёной кнопке, когда сверху, над правым плечом, что-то тихо и сухо хрустнуло. Звук был знакомый. Я слышал его трижды за всю жизнь и всякий раз успевал отскочить.

Сейчас отскакивать было некуда. Яма шириной в метр, борт высотой почти четыре.

«Перезвоню сверху», - мелькнула глупая мысль.

Потом стало темно и тяжело. Земля пахнет одинаково в любом веке. Это последнее, что я успел подумать.

***

Сарматовск, ночь со вторника на среду, 6–7 апреля 1971 года. Курганы у Гнилой балки.

Кто-то тянул меня за ноги.

Тянул грубо, рывками, и каждый рывок отзывался в рёбрах. Рот был набит землёй. Я попытался вдохнуть, подавился и закашлялся, и от кашля земля полезла ещё глубже, в горло, в нос. Тело дёргалось само, без моего участия, как рыба на дне лодки.

Потом в лицо ударил холодный воздух.

Я лежал на спине и кашлял. Кашлял так, что из глаз текли слёзы, а изо рта летели комья суглинка. Надо мной висело небо, чёрное, густое, и звёзд на нём было столько, сколько я не видел с последней экспедиции в Монголию. Над Ростовом таких звёзд не бывает, там вместо них рыжая подсветка от торговых центров.

- Живой? Костька! Живой, паразит?

Надо мной нагнулся старик. Фонарь у него в руке плясал, и свет прыгал то мне в лицо, то куда-то в сторону. Я успел разглядеть ватник, шапку-ушанку с одним опущенным ухом и щетину на подбородке, седую, как изморозь на стерне.

Старик ударил меня по щеке. Не сильно, но ощутимо.

- Дыши! Ну! Дыши, кому говорю!

Я дышал. Получалось плохо, со свистом, но получалось. Лёгкие горели, в груди что-то булькало. Старик подхватил меня под мышки, усадил и принялся колотить ладонью по спине. Ладонь была твёрдая, как доска.

Из меня вылетел ещё один комок земли, и стало легче.

- Во-от, - старик перестал колотить. - Во-от так. Всё. Всё, дурень. Вылез.

Голос у него дрожал. Не от холода. Я слишком часто слышал, как дрожат голоса у людей, которые только что разминулись со смертью, чтобы спутать.

Первая связная мысль была профессиональной: меня откопали. Кто-то из рабочих услышал обвал, позвал народ, меня выдернули из ямы. Повезло. Сколько я пролежал? Минуту? Две? Больше трёх минут под землёй не живут.

Вторая мысль была уже не такой связной. Почему темно? Обвал случился около восьми вечера, а в середине мая в это время в Ростове ещё светло.

И почему этот старик зовёт меня Костькой?

Я повернул голову. Шея слушалась плохо, будто её смазали песком.

Рядом с нами, в боку высокой земляной насыпи, чернела дыра. Узкая, неровная, в которую с трудом пролез бы взрослый мужчина. Края её осыпались, и свежая земля лежала веером на прошлогодней траве. Чуть в стороне валялась брошенная лопата с коротким черенком. Дальше, в свете пляшущего фонаря, я разглядел ещё одну вещь, и от этой вещи мне стало холоднее, чем от ночного ветра.

На земле лежал щуп. Длинный стальной прут в палец толщиной, метра под два, с поперечной ручкой наверху. Таким прощупывают грунт на глубину, пока он не упрётся во что-то твёрдое. В камень. В дерево. В перекрытие погребальной камеры.

Этот инструмент я знал очень хорошо. Не по учебникам. В девяносто седьмом, под Новочеркасском, мы с милицией накрыли бригаду, которая разрыла за лето одиннадцать курганов. У них было три таких щупа и самодельный металлоискатель на батарейках от фонарика. Щупы потом лежали у нас в лагере как вещдоки, и практиканты фотографировались с ними для своих девушек.

Насыпь, из которой меня вытащили, была курганом. Дыра в её боку - грабительским лазом. Копали с юга, наискось, чтобы выйти к центру под насыпью. Копали наспех и без всякого крепления. Совсем как я свою катакомбу.

Смешно. Если бы не было так страшно, было бы очень смешно.

- Ты чего тут забыл ночью, а? - старик вытер мне лицо рукавом. Рукав пах соляркой и махоркой. - Я ж тебе русским языком говорил: не лазь на курганы. Говорил?

Я открыл рот, чтобы ответить, и закрыл. Ответа у меня не было. Зато был вопрос, и он вытеснил из головы всё остальное.

Руки.

Я поднял их к фонарю. Чужие руки. Узкие запястья, тонкие пальцы, ногти обгрызены до мяса, на костяшке левой - свежая ссадина. Ни пятна на тыльной стороне ладони, ни шрама от штыковой лопаты, который я заработал на первой своей практике в восемьдесят третьем году. Ни обручального кольца, которое я так и не снял после похорон.

Это были руки мальчишки.

- Ну? Чего молчишь? - старик посветил мне в лицо. - Головой приложился? Сколько пальцев?

Он выставил передо мной три пальца, толстых, с плоскими жёлтыми ногтями.

- Три вроде, - голос, который ответил, был не мой. Высокий, ломающийся, с петушиной трещинкой на конце.

- Ну хоть считать не разучился, - проворчал старик и опустил фонарь. - Деда-то узнаёшь?

Я смотрел на него и не узнавал. Вернее, видел в нём тип, который встречал в каждой второй степной деревне: фронтовое поколение, сухое и крепкое, как саксаул. Таких стариков я помнил по своим первым экспедициям, когда они ещё были живы и приходили на раскоп поглазеть, а потом приносили нам, студентам, ведро огурцов. Им тогда было по шестьдесят. Как мне сейчас.

Как мне было.

- Узнаю, конечно, - соврал я, потому что любой другой ответ прозвучал бы ещё хуже.

Старик хмыкнул недоверчиво, но допытываться не стал. Он снял с себя ватник, оставшись в толстом свитере с латками на локтях, и набросил его мне на плечи. Ватник был тёплый изнутри и тяжёлый, как бронежилет.

Где-то за курганом, со стороны балки, затарахтел мотор. Луч фары прыгнул по верхушкам бурьяна, качнулся, пропал за насыпью и вынырнул уже совсем близко. К нам, переваливаясь на кочках, подъехал мотоцикл с коляской. Мотор чихнул и заглох.

С мотоцикла слез человек в шинели и фуражке. Фуражка в апрельскую ночь - это было что-то из военного кино. Человек снял перчатки, сунул их в карман и подошёл, светя перед собой фонариком.

- Нашли, Семён Ильич? - голос молодой, напряжённый. - Цел?

- Нашёл, - дед поднялся с колен, и у него хрустнули суставы. - Цел вроде. В нору эту залез, дурак, а нору завалило. Хорошо, ноги снаружи торчали. Я по ногам и отыскал. Сапоги его.

Милиционер посветил на дыру в кургане, потом на меня, потом снова на дыру. Лет двадцать семь, лицо круглое, усталое, на плечах шинели две маленькие звёздочки. Лейтенант.

- Это ж кто такое выкопал? - он присел у края лаза и потрогал рыхлый выкид пальцами. - Это не за одну ночь, Семён Ильич. Тут кубов пять вынуто.

- Кубов шесть, - вырвалось у меня раньше, чем я успел подумать.

Оба повернулись ко мне.

Я прикусил язык, но было поздно. Тридцать лет назад я защищал кандидатскую по методике полевой фиксации и до сих пор на глаз определял объём выкида с точностью до полукуба. Привычка сработала быстрее, чем осторожность.

- Это я так, - голос опять сорвался на петушиную ноту. - Прикинул. На глаз.

Лейтенант посмотрел на меня долгим взглядом, но ничего не ответил. Он выпрямился, обошёл лаз по кругу, освещая землю под ногами. Остановился у щупа, поднял его и взвесил в руке.

- Ого. Это не детская игрушка, - он повернулся к деду. - Ваш?

- Ты что, Виктор Палыч, с ума съехал? - дед даже шапку поправил от возмущения. - Мой?! Я тебе кто, грабитель могильный?

- Я не про вас. Я про внука.

- Внук у меня книжки читает, - отрезал дед. - Ему ведро с водой поднять - уже подвиг, а ты ему лом этот суёшь.

Лейтенант Виктор Палыч воткнул щуп в землю, как флагшток, и снова присел передо мной на корточки. Фонарик он опустил, чтобы не слепить. Деликатный. Это я отметил с благодарностью.

- Рябинин, ты с кем тут был?

Значит, Костя Рябинин. Внук Семёна Ильича, который читает книжки и не может поднять ведро. Я сложил эти три факта в одну стопку, как складывают находки в один пакет с одной этикеткой, и понял, что больше у меня ничего нет.

- Не помню, - честно ответил я.

- Как это не помнишь?

- Совсем не помню. Как сюда пришёл, как полез. Ничего.

Это была чистая правда, и, кажется, она прозвучала убедительно. Лейтенант переглянулся с дедом.

- Головой стукнулся, - вынес приговор дед. - Его землёй накрыло, он под ней сколько пролежал, кто знает. Пока я его выковырял…

- В больницу надо, - лейтенант встал. - Пусть Бондаренко посмотрит. А утром разберёмся.

- Матери-то что скажем? - дед стянул шапку и помял её в руках. - Валька и так на смене до утра. Увидит его такого, сама в приёмном и сляжет.

- Ничего не скажем. Сами привезём, сами объясним, - не согласился лейтенант и отряхнул колени. - Она медик, Семён Ильич, она крепче нас с вами.

Я понял, что если не спрошу сейчас, то потом спросить будет не у кого.

- А сегодня какое число?

Дед покосился на лейтенанта. Тот глянул на часы, наклонив циферблат к фаре.

- Без двадцати час. Значит, уже среда. Седьмое апреля.

- А год?

Пауза вышла длинная. Где-то в балке закричала птица, глупо и тревожно.

- Семьдесят первый, Рябинин, - лейтенант заговорил медленно, как с больным. - Двадцать четвёртый съезд партии идёт. По радио с утра до ночи. Тоже не помнишь?

- Совсем плохой, - дед перекрестился было, спохватился и сделал вид, что поправляет ушанку. - Вези его, Палыч. Вези, ради бога.

Лейтенант отошёл к мотоциклу, отцепил брезентовый полог с коляски и принялся его сворачивать. Дед пошёл за ним, на ходу объясняя, где у неё застёжка, которую заедает. Они стояли вдвоём в круге света от фары, а меня оставили в темноте, у кургана.

Минута. Может быть, две.

Я сидел, кутаясь в чужой ватник, и пытался заставить голову думать. Получалось скверно. Мысли расползались, как муравьи из разворошённой кучи, и каждую приходилось ловить отдельно.

Я умер. Это было ясно и почему-то совсем не страшно. Обвал, четыре метра мокрого суглинка, никого рядом. Шансов не было никаких. Вера позвонила, а я не ответил. Перезвонить сверху так и не получилось. Вот эта мысль была страшнее смерти, и я поскорее её отодвинул, потому что с ней невозможно было думать о чём-то ещё.

Я жив. Это тоже было ясно. В чужом теле, в чужой степи, рядом с чужим разграбленным курганом. Фуражка, шинель, мотоцикл с коляской, на котором не стоит ни одной иностранной детали. Ватник. Махорка. Небо без светового загрязнения. Если это предсмертный бред, то он слишком хорошо знает материальную культуру. Мой мозг за шестьдесят лет так и не научился правдоподобно придумывать даже сны.

Значит, не бред. Значит, разберёмся потом.

А сейчас надо понять, что я здесь делал. Вернее, что здесь делал Костя.

Я пошарил руками по себе, как шарят по карманам после драки. Куртка на мне была тонкая, болоньевая, мокрая насквозь и вся в земле. Под ней - свитер. Брюки, сапоги. Резиновые, короткие, на пару размеров больше нужного: дед, видимо, именно за них меня и вытащил. В левом кармане куртки - носовой платок, сопливый и смятый. В правом - огрызок карандаша и три монеты.

Во внутреннем кармане обнаружилось что-то ещё.

Тяжёлое для своего размера. Плоское. Обёрнутое в тряпочку и перевязанное суровой ниткой.

Я оглянулся на мотоцикл. Лейтенант сражался с застёжкой, дед светил ему фонарём и давал советы. На меня никто не смотрел.

Нитка поддалась не сразу. Пальцы, чужие и замёрзшие, слушались плохо. Тряпочка размоталась, и в ладонь мне легла вещь размером со спичечный коробок.

Света от фары хватило.

Олень. Он лежал, поджав под себя ноги, вытянув вперёд морду. Рога, длинные, ветвистые, шли волнами по всей спине до самого хвоста. Глаз был обозначен кружком, ноздря - запятой, копыта - маленькими каплями. Мастер не тратил ни одной лишней линии. Он знал, как выглядит олень, и знал, как его сделать, чтобы зверь был понятен с двух метров на колчане скачущего всадника.

Золото. Не латунь, не позолоченная медь, не гальваника. Я взвесил вещицу на ладони и сразу отбросил сомнения. Мягкий, тёплый, глубокий цвет, никакой зелени по краям, тонкая потёртость на рогах, где металл тысячелетиями тёрся о кожу. На обороте, я нащупал их пальцем, - две петельки для пришивания.

Скифский звериный стиль. Шестой век до нашей эры, а может, и седьмой. Нашивная бляшка с колчана или с горита. За всю жизнь я держал в руках такие вещи раз двадцать, и всякий раз в музейных перчатках, под присмотром хранителя.

Сейчас я держал её голой мальчишеской ладонью, в шаге от грабительского лаза, а в десяти метрах от меня стоял лейтенант милиции.

Картина сложилась сама. Курган грабили. Не один человек: шесть кубов земли за ночь не вынет и бригада, значит, копали несколько ночей. Сегодня дошли до камеры. Что-то нашли. А потом что-то пошло не так, лаз обвалился, и внутри остался мальчишка. Тот, кто был с ним, судя по всему, забрал фонарь и ушёл. Лопату и щуп бросил. А мальчишка… Мальчишка остался с золотом во внутреннем кармане, перевязанным суровой ниткой. Случайную находку так не заворачивают. Это вещь, которую успели взять, пока никто не видит.

Глупый ты, Костя. Глупый и смелый. Знать бы ещё, кого ты боялся больше - милиции или тех, с кем пришёл.

За шестьдесят один год я твёрдо усвоил одно: курганное золото само по себе не лежит. За ним всегда кто-то стоит. И этот кто-то обязательно вернётся за тем, что считает своим.

Отдать находку лейтенанту было бы правильно. По закону. По совести. По всем инструкциям, которые я сорок лет вбивал в головы студентов. Только я понятия не имел, кто такой этот Виктор Палыч. И кто такой этот дед. И кто стоял ночью у лаза, пока Костя лез внутрь. В городке, где все друг друга знают, грабить курганы так, чтобы участковый ничего не знал, - задача непростая.

Я не знал здесь никого. Даже себя.

Мотор мотоцикла чихнул и завёлся, застучал ровно. Я стянул правый сапог, сунул бляшку вместе с тряпочкой глубоко в носок, под пятку, и натянул его обратно. Резина была холодная и скользкая, нога влезла с трудом.

Луч фонарика упёрся мне в лицо.

- Рябинин, - лейтенант стоял в трёх шагах и не опускал фонарь. - Ты что там прячешь?

Глава 2

Сарматовск, среда, 7 апреля 1971 года. Районная больница.

Карманы у меня были пусты, кроме правого, и я сунул в него руку раньше, чем успел испугаться.

- Монеты, - я разжал кулак под лучом фонаря. - Замёрз. Считаю, чтобы не уснуть.

На ладони лежали три кружка: двадцать копеек, тусклая трёхкопеечная и большой тёмный медяк, стёртый почти до гладкости. На медяке ещё угадывался вензель и цифры. Тысяча семьсот восемьдесят какой-то год. Екатерининский пятак.

Лейтенант наклонился, подцепил медяк двумя пальцами и повернул к свету.

- Это ещё что за царские деньги?

- С огорода, - ответ сложился сам. Огород у любого степного дома за двести лет отдавал по паре таких монет за сезон, и мальчишка-нумизмат наверняка собирал их по всей улице. - Копал весной и нашёл.

- Ты ж копать не любишь, Рябинин.

- Нашёл же.

Он вернул пятак мне на ладонь и выпрямился. Фонарь наконец ушёл в сторону, и я смог проморгаться.

- Садись в коляску. Живо. И ватник запахни, пока дед не передумал.

Коляска оказалась глубокой, как корыто, и пахла бензином и мокрым брезентом. Дед подоткнул под меня полог, сам сел на заднее сиденье за лейтенантом, и мотоцикл, взревев, пополз по балке вверх. Подбрасывало так, что зубы клацали. Бляшка в сапоге давила на пятку на каждой кочке, и я зачем-то их пересчитывал, как студент шаги на нивелировке.

Наверху степь кончилась, и начался город. Если, конечно, это можно было назвать городом.

Одноэтажные дома за штакетником, тёмные окна, редкие фонари на деревянных столбах. Под каждым фонарём на земле лежал жёлтый круг, а между кругами стояла такая чернота, что фара мотоцикла упиралась в неё, как в стену. Из-за заборов на нас лаяли собаки, передавая эстафету от двора к двору. Где-то справа над крышами торчала водонапорная башня, а дальше - силуэт элеватора с огромными буквами на крыше. Букв я в темноте не разобрал, но догадывался.

Я вертел головой и не мог насмотреться. Сорок лет назад, студентом, я застал такие городки на последнем издыхании: облупленные, полупустые, с заколоченными клубами. Этот был живой. Сонный, тёмный, но живой.

Больница стояла на окраине, за высоким забором из ракушечника. Двухэтажный корпус с белёными колоннами и пристройкой, над крыльцом горела лампочка в железной сетке. Лейтенант заглушил мотор у самых ступенек, и в наступившей тишине стало слышно, как где-то позади тарахтит дизель.

Дверь распахнулась раньше, чем мы успели подняться.

На пороге стояла женщина в белом халате, накинутом поверх тёмного платья. Невысокая, плотная, с гладко зачёсанными назад волосами. Свет падал ей в спину, и лица я не видел. Видел только, как она замерла, разглядывая нашу процессию.

- Костя, - голос у неё сел до шёпота. - Господи. Костя.

Она слетела по ступенькам, схватила меня за плечи и развернула к свету. Пальцы у неё были жёсткие и холодные. Не тратя ни секунды на слёзы, она оттянула мне веко большим пальцем, заглянула в один глаз, потом в другой. Ощупала затылок, шею, ключицы. Профессионально, быстро, как ощупывают незнакомого пострадавшего. И только закончив, прижала мою голову к груди.

От халата пахло хлоркой и почему-то ванилью.

- Валя, он ничего не помнит, - дед топтался рядом. - Ни число, ни год. Меня, говорит, узнаёт, а сам глазами хлопает.

- Ничего, - она не отпускала мою голову. - Ничего. Отойдёт. Ты меня слышишь, сынок? Ты меня узнаёшь?

Я не узнавал. Я видел женщину лет сорока, которая обнимала чужого ребёнка так, как будто держала своего. Внутри у меня что-то болезненно сжалось. Моя мать умерла в две тысячи девятом, и последние три года её жизни я видел её по выходным, через раз.

- Узнаю, мам, - ответ вышел хриплым, и это было даже кстати.

Она наконец отстранилась и подтолкнула меня к двери.

- В приёмный. Быстро. Виктор Палыч, спасибо вам. Пап, иди домой, Нинка там одна.

- Никуда я не пойду, - дед стянул шапку. - Сяду тут и буду сидеть.

Спорить с ним она не стала. Видно, не первый раз.

Приёмный покой был тесной комнатой с кушеткой под клеёнкой, белым шкафом со склянками и столом, на котором лежал журнал в коленкоровом переплёте. Мать усадила меня, рывком стянула с меня ватник, потом мокрую куртку.

- Сапоги снимай.

Вот оно.

- Я сам, - я наклонился к правому сапогу. - Мам, я сам.

- Руки у тебя ходуном ходят. Дай сюда.

- Сам, говорю!

Вышло громче и резче, чем нужно. Она подняла брови, но отступила, и я принялся стаскивать сапог, медленно, морщась, как будто каждое движение отдавалось в голове. Голова и правда гудела, так что играть почти не пришлось. Сапог сполз. Носок под ним был мокрый и бугрился на пятке.

Мать отвернулась к шкафу за полотенцем. Я стянул носок одним движением, сжал вместе со всем содержимым и сунул руку под колено.

- Носки тоже давай, - не оборачиваясь, бросила она. - Всё мокрое, в сушилку.

- Один отдам, второй сам повешу.

- Это ещё почему?

- Он дырявый, - я не нашёл ничего умнее. - Стыдно.

Она обернулась, посмотрела на меня долгим взглядом, и я понял, что сморозил что-то совсем не Костино. Шестнадцатилетний сын у медсестры, видимо, дырявых носков не стеснялся.

- Ты точно головой ударился, - вздохнула она и бросила мне на колени полотенце. - Ладно. Вытирайся. Бондаренко сейчас придёт.

Дежурный хирург Бондаренко оказался высоким сутулым мужчиной лет пятидесяти пяти, с длинным лицом и усталыми глазами, как у хорошей лошади. Он вошёл, застёгивая халат на ходу, и от него пахло табаком и сном.

- Ну, герой, рассказывай, - он сел на табурет напротив. - Что болит?

- Голова. Рёбра. Горло.

- Горло - это от земли. Рёбра - это от деда твоего, он тебя, говорят, по спине молотил, как ковёр. А голова - это интересно.

Он светил мне в глаза фонариком, заставлял следить за пальцем, трогать кончик носа то правой рукой, то левой, стоять зажмурившись, с вытянутыми руками. Я выполнял всё старательно. Неврологический осмотр я проходил не раз, в последние годы - каждые полгода, и знал, чего от меня ждут. Поэтому тщательно промахнулся пальцем мимо носа на один сантиметр.

- Число какое сегодня помнишь?

- Седьмое апреля, - я помедлил. - Мне лейтенант сказал.

- А до лейтенанта?

- Не помню.

- Как класс зовут, в котором учишься?

Я честно пожал плечами.

Бондаренко переглянулся с матерью.

- Сотрясение, Валентина Семёновна. Средней тяжести, я бы сказал. Ретроградная амнезия, бывает. Обычно проходит за несколько дней, иногда за неделю. Кладём на три дня, посмотрим. Холод на голову, покой, никакого чтения.

- Никакого чтения, - мать горько усмехнулась. - Вы ему ещё дышать запретите.

Палата была на втором этаже, четырёхместная, с высоким потолком и окном во двор. Две кровати пустовали, на двух спали. Мать уложила меня у окна, принесла грелку со льдом, подоткнула одеяло и ушла, предупредив, что заглянет через час.

Я лежал на спине и смотрел в потолок, по которому ползла трещина в форме реки с притоками, и ждал, пока стихнут её шаги в коридоре.

Носок с бляшкой лежал у меня под подушкой.

***

Утро наступит часа через четыре, а с утром придут санитарки, менять бельё, мыть полы и заглядывать во все углы. Подушку перетряхнут. Тумбочку откроют. Под матрасом нащупают. Я двадцать лет прожил в общежитиях и экспедиционных лагерях и твёрдо знал, где ищут в первую очередь.

Кровать была железная, с панцирной сеткой и высокими спинками из блестящих труб. На четырёх углах, где трубы сходились, сидели никелированные шарики размером с крупный грецкий орех. Такими сто лет украшали в этой стране каждую больничную, казарменную и бабушкину кровать.

Шарики откручивались. Это я помнил ещё по пионерскому лагерю, где мы прятали в спинках сигареты.

Я сел, прислушался. Сосед у двери храпел ровно, со свистом. Второй, у противоположной стены, лежал лицом к стене и не шевелился. Я дотянулся до шарика на изголовье, со стороны окна, и попробовал повернуть. Тот не поддался. Резьба прикипела от краски, которой спинку красили и перекрашивали, наверное, с тех пор, как Бондаренко был интерном.

Я обмотал шарик краем простыни и налёг сильнее. Хрустнуло. Шарик провернулся на четверть оборота, потом ещё, и наконец остался у меня в руке. Под ним открылся тёмный зев трубы.

Труба была широкая, сантиметра три в диаметре. Бляшка в обмотке не пролезала. Я развернул тряпочку, оставив олешка голым, и поставил его на ребро. Он вошёл в трубу ровно, с небольшим запасом, и скользнул вниз сантиметров на двадцать, пока не упёрся во что-то. Я затолкал за ним тряпочку, чтобы не звякал, и закрутил шарик обратно.

Носок я повесил сушиться на спинку кровати. Пусть все видят: мальчик стеснялся дырявого носка.

Только потом, лёжа в темноте, я заметил, что меня трясёт. Не от холода. От того, что за последние три часа я ни разу не успел подумать о том, что произошло. Каждую минуту нужно было что-то делать: врать, прятать, отвечать. А сейчас занять себя было нечем, и всё это навалилось разом, как тот борт траншеи.

Вера. Я так и не перезвонил.

Узнает она завтра. Нет, уже сегодня, в две тысячи двадцать шестом. Позвонит ей Миша, или Аня, или кто-нибудь из института, и скажет. Она приедет на похороны, будет стоять у гроба и думать, что отец опять не ответил на звонок. Как всегда. Как все последние годы.

Я лежал и смотрел на трещину в потолке, пока она не начала расплываться.

Утро наступило со скрипом двери, грохотом ведра и голосом санитарки, которая громко сообщила палате, что пора вставать, нечего бока отлёживать. Соседи заворочались.

Тот, что храпел у двери, оказался крупным стариком с багровым лицом и белыми бровями. Он сел на кровати, почесал живот под пижамой и первым делом включил радиоточку на стене. Из пластмассовой коробки понеслось бодрое о выполнении планов девятой пятилетки и о том, что делегаты съезда горячо одобрили.

- Новенький, - старик уставился на меня. - Это тебя ночью приволокли? Сапогами по коридору топали, как на параде.

- Меня, кого ж ещё, - я сел. Голова отозвалась тупым гулом.

- Мирон Кузьмич, - он протянул мне руку через проход, огромную и шершавую. - Грыжа у меня. А это Толик, - кивок на соседа у стены. - Толик у нас тракторист, руку сломал. Ему говорить нечем, он только ест.

Толик, совсем молодой парень с загипсованной рукой на перевязи, хмуро буркнул что-то в подушку.

- Ты чей будешь-то?

- Рябинин. Костя.

- Валькин, что ли? Фельдшерицы? - Мирон Кузьмич оживился. - То-то она всю ночь бегала. А чего с тобой?

- Не помню.

- Как это не помнишь?

- Совсем. Ударился головой.

- Ишь ты, - старик посмотрел на меня с уважением, как на человека, совершившего что-то значительное. - У нас в сорок третьем так комвзвода контузило. Тоже ничего не помнил. Месяц потом свою жену по имени-отчеству звал, а она плакала.

Завтрак принесли на подносе: манная каша в алюминиевой миске, кусок белого хлеба с кружком масла и чай в гранёном стакане. Чай был сладкий до приторности, и я выпил его залпом, а потом съел кашу, хлеб и масло. Чужой организм, оказывается, хотел есть так, как мой уже лет двадцать не умел.

На обходе Бондаренко опять светил мне в глаза, гонял палец к носу и остался доволен. Медсестра, совсем молоденькая, принесла таблетки в бумажном кулёчке и проследила, чтобы я их проглотил.

В одиннадцать пришёл Пахомов.

Фамилию лейтенанта я услышал от Мирона Кузьмича, который при его появлении бодро приветствовал «Витю Пахомова» и спросил, не принёс ли тот курева. Курева у Пахомова не оказалось. Зато при нём была белая наволочка, под которую он подложил что-то длинное и тяжёлое.

Он придвинул табурет к моей кровати и сел, держа наволочку на коленях.

- Ну что, Рябинин, вспомнил что-нибудь?

- Нет, Виктор Павлович.

- Совсем ничего?

- Помню, как дед тянул за ноги. До этого - ничего.

Пахомов помолчал. Потом развернул наволочку. Под ней лежал вчерашний щуп.

Мирон Кузьмич вытянул шею. Толик впервые за утро повернулся от стены.

- Знакомая вещь?

- Это та, что у кургана валялась.

- Та. А раньше видел?

- Не помню.

- Ты приглядись, - он положил щуп на одеяло поперёк моих ног. - Видишь ручку?

Я посмотрел. Ручка была приварена к пруту поперёк, двумя аккуратными швами. Швы ровные, гладкие, без наплывов. Прут - не арматура, а круглая калиброванная сталь. Конец заточен на наждаке и закалён: металл у острия посинел.

- Сварено хорошо, - я провёл пальцем по шву раньше, чем подумал, стоит ли.

- Вот, - Пахомов кивнул. - Я с утра к сварщику в мастерские ездил. Он тоже сказал: хорошо. Говорит, такой шов на коленке не положишь. Нужен аппарат и руки. А таких у нас в районе знаешь сколько?

- Не знаю.

- Три. На автобазе, в мастерских ПМК и на элеваторе.

Я промолчал. Мне очень хотелось спросить, какая ПМК и чем она занимается, но вопрос был бы чересчур взрослым. Пахомов и так разглядывал меня дольше, чем смотрят на мальчика, потерявшего память.

- Курган этот копали неделю, не меньше, - он начал заворачивать щуп обратно в наволочку. - Ночами. Мать твоя говорит, ты всю последнюю неделю приходил домой затемно. Говорил, что у Штерна сидишь.

- У кого?

- У Ефима Марковича. Старичок такой, с палочкой. Ты к нему третий год бегаешь, книжки у него берёшь.

- Не помню, - повторил я, хотя имя отозвалось где-то в груди, глухо и непонятно. Как будто у прежнего хозяина этого тела под этим именем был спрятан ключ.

Пахомов поднялся, сунул наволочку под мышку.

- Слушай меня, Рябинин. Если кто будет приходить, спрашивать, как ты да что ты, где был, с кем, - ты мне скажи. Хорошо? Кто бы ни пришёл.

- Хорошо, скажу.

- Я серьёзно.

- Я тоже.

Он посмотрел на меня ещё раз, коротко, и ушёл.

- Строгий, - уважительно заметил Мирон Кузьмич, когда дверь закрылась. - Он у нас второй год. Молодой, а строгий. Прошлый был Сидоренко, тот всё больше рыбу ловил.

***

Днём меня пустили умыться. Умывальная была в конце коридора: три раковины, кафель до половины стены, мутное зеркало в деревянной раме. Я подошёл к нему и долго стоял.

Из зеркала на меня смотрел незнакомый мальчишка. Узкое лицо, острый подбородок, белёсые брови. Серые глаза, русые волосы, вихор на макушке, которому никакая расчёска не указ. На лбу, ближе к виску, - свежая ссадина с запёкшейся кровью. Нос облупился, как бывает у тех, кто весной первым выходит на солнце. Шея тонкая, кадык торчит.

Обычный мальчишка из обычного города. Таких на любой школьной фотографии семидесятых годов по три в каждом ряду.

- Ну, здравствуй, Константин Николаевич, - тихо произнёс я, и мальчишка в зеркале послушно пошевелил губами. - Давай как-то договариваться.

Мать пришла после обеда. Она переоделась, и без халата выглядела моложе и меньше: синее платье с белым воротничком, кофта, косынка. В руках у неё была сумка, а в сумке - пол-литровая банка с куриным бульоном, обёрнутая в газету и полотенце, и три пирожка с капустой в промасленной бумаге.

- Ешь, - она поставила банку на тумбочку и села на край кровати. - Ешь при мне.

Я ел при ней. Бульон был горячий и густой, с плавающими кружками жира, пирожки - мягкие, с поджаристой корочкой. Мирон Кузьмич через проход следил за каждым куском с таким выражением, что третий я отдал ему.

- Как голова?

- Гудит. Меньше, чем ночью.

- Бондаренко говорит, память вернётся, - она разгладила на мне одеяло, хотя складок на нём не было. - Ты главное не пугайся. И не нервничай. Отец в пятницу с рейса вернётся, я ему ещё не сказала. Он с ума сойдёт.

- С какого рейса?

Она посмотрела на меня, и в глазах у неё снова мелькнул страх.

- В Ростов повёз зерно. Он шофёр, Костенька. На автобазе. Ты что, и папу не помнишь?

- Помню, конечно, - соврал я, и она сделала вид, что поверила.

Мы помолчали. Мать разглаживала пальцами газету, в которую была завёрнута банка, и я видел, что ей хочется спросить и страшно спрашивать.

- Костя, - наконец решилась она. - Ты зачем туда полез?

- Не знаю, мам.

- Ты ж у меня тихий. Ты ж у меня на велосипеде до сих пор на горку боишься. С кем ты туда ходил?

- Не помню, - ответ, повторённый в десятый раз за сутки, уже сам по себе звучал как неправда.

- Опять со своим Штерном? Он тебе голову морочит своими курганами?

- Мам, он старый. Он бы до кургана не дошёл.

Вот это было лишнее. Мать замерла.

- Ты же не помнишь, какой он, - медленно произнесла она.

- Виктор Павлович сказал. Что он с палочкой.

Она выдохнула. Поверила. Или захотела поверить.

- Ладно, - она поднялась, собрала пустую банку. - Отдыхай. Я ночью опять на смене, загляну.

Уходя, она задержалась в дверях и оглянулась. Так оглядываются на ребёнка, которого вчера чуть не потеряли. Мне было очень стыдно, и я не знал, как это исправить.

Вечером, когда за окном уже синело, а в палате зажгли лампочку под матовым колпаком, в дверь постучали. Стучать в больничные палаты здесь, видимо, было не принято: Мирон Кузьмич от удивления даже убавил радио.

Вошёл мужчина в сером пальто и шляпе. Лет пятидесяти пяти, полноватый, гладко выбритый, в очках с тонкой золотой оправой. В руках он держал бумажный кулёк, из которого выглядывали оранжевые бока.

Апельсины. В апреле, в степном райцентре. Мирон Кузьмич крякнул.

- Добрый вечер, товарищи, - мужчина снял шляпу и вежливо поклонился палате. - Прошу прощения за беспокойство. Я, собственно, к молодому человеку.

Он прошёл к моей кровати, положил кулёк на тумбочку и сел на табурет, предварительно оглядев его на предмет чистоты.

- Шубин, - представился он, протягивая мне мягкую сухую ладонь. - Вениамин Аркадьевич. Директор нашего краеведческого музея. Ты меня, говорят, не помнишь, Константин?

- Нет. Извините.

- Ну что ты, что ты. Какие извинения. Это мне следует извиниться, что не зашёл раньше. Как только узнал о прискорбном происшествии, так сразу и решил навестить. Ты ведь у нас юный краевед. Член кружка при музее. Активный, между прочим, член.

Он улыбался мягко и ровно, одними губами. Глаза за стёклами очков оставались внимательными и неподвижными, как у человека, который читает мелкий шрифт.

- Спасибо большое, - я взял из кулька апельсин и стал вертеть в руках. Он был холодный и пах Новым годом.

- В районе, знаешь ли, переполох, - Шубин понизил голос, наклонившись ко мне. - Курган разрыт. Памятник археологии, состоящий на учёте. Это, Константин, не шутки. Это государ-

ственное имущество. Мне придётся писать докладную в область. Вот я и подумал: может, ты там что-то видел? Что-то, что могло бы помочь установить, так сказать, характер повреждений?

- Я ничего не помню.

- Совсем ничего? Может быть, какие-нибудь предметы? Черепки, кости? Ребята, бывает, поднимают такое с земли, по неопытности, а потом не знают, куда девать. Это не страшно. Принести в музей - и всё. Музей примет.

- Не помню, Вениамин Аркадьевич.

Он покивал, сочувственно и понимающе. Апельсин у меня в руке нагрелся.

- Ну, поправляйся, - Шубин поднялся, надел шляпу, застегнул пальто на все пуговицы. - Если что-то вспомнишь, приходи. Двери музея для тебя всегда открыты. Всегда.

Он уже взялся за дверную ручку, когда обернулся, будто вспомнил что-то незначительное.

- Да, кстати. Ефим Маркович тебе привет не передавал?

- Нет, не передавал.

- Вот как? - Шубин чуть поднял брови. - Странно. Вы ведь с ним такие друзья. Каждый вечер вместе.

И вышел, аккуратно притворив за собой дверь.

Глава 3

Сарматовск, четверг, 8 апреля 1971 года. Районная больница - улица Степная.

Утро началось с того, что бляшка застряла.

Я понял это сразу, как только открутил шарик. Мирона Кузьмича увели на процедуры, Толик спал, отвернувшись к стене и посвистывая носом. Я заглянул в трубу и увидел край тряпочки. Вытянул её двумя пальцами. Дальше была темнота.

Палец уходил в трубу на всю длину и ничего не находил. Олешек проскользнул ниже, чем я рассчитывал ночью, и теперь лежал где-то на стыке трубы с перекладиной, сантиметрах в двадцати от края. Как в шурфе, который заплыл грунтом. Только в шурф хотя бы можно спрыгнуть.

Я сел на кровать и стал думать.

Перевернуть кровать вверх ногами при живом Толике не получится. Вызвать слесаря, чтобы распилил трубу, - тем более. Нужен был длинный тонкий инструмент и что-то липкое на конце. В экспедиции я выковыривал бы монету из щели в камне пинцетом и пластилином. Здесь не было ни того, ни другого.

Зато у меня на лбу, поверх ссадины, сидела полоска лейкопластыря. А на тумбочке стоял стакан с алюминиевой ложкой, которую забыли унести после завтрака.

Пластырь отклеился с болью, вместе с корочкой. Я обмотал им кончик ложки липкой стороной наружу, придавил пальцами, чтобы держался, и опустил черенком вниз в трубу. Черенок был длинный, дешёвый, гнулся от одного взгляда. Сантиметров восемнадцать. Если повезёт, хватит.

Первый раз ложка упёрлась во что-то и ничего не вытащила. Второй раз пластырь соскользнул, и пришлось лезть за ним пальцами. Толик за спиной заворочался, и я замер с ложкой в трубе, как вор с рукой в чужом кармане. Толик вздохнул, почмокал губами и снова засвистел носом.

На третий раз ложка вышла из трубы с олешком, прилипшим к пластырю спиной. Я снял его, завернул в тряпочку и сунул в носок, который успел за ночь высохнуть на спинке кровати. Носок натянул на ногу. Шарик закрутил. Ложку отнёс в умывальную и тщательно отмыл, а липкую ленту спустил в унитаз.

В коридоре мне попалась молоденькая медсестра, та самая, что вчера носила таблетки.

- Рябинин, ты почему без повязки? - она уставилась на мой лоб.

- Отвалилась сама.

- Прямо сама?

- Ну да, - я потрогал ссадину. - Чесалась сильно.

Она отвела меня в процедурную, промыла ссадину перекисью, которая зашипела и защипала, и наклеила новый пластырь, крест-накрест. От неё пахло дешёвыми духами «Красная Москва», и я вспомнил, что так же пахла наша литераторша в восьмидесятом году. Тогда эти духи уже были немодными, а здесь, видимо, только входили в силу.

К одиннадцати пришла мать.

Она была не одна: за её спиной в дверях маячил дед, побритый и в чистой рубашке, застёгнутой на все пуговицы. В руках он держал свёрток с моей одеждой, высушенной и, судя по запаху, отглаженной.

- Собирайся, - мать поставила на тумбочку сумку. - Домой идём.

- А три дня?

- Договорилась я с Григорием Аркадьевичем. Под расписку. Он сказал, дома ты быстрее отойдёшь, а у него, сам видишь, коек нет.

Коек на самом деле было две свободных, но спорить я не стал. Домой хотелось ничуть не меньше, чем матери. Вернее, тянуло из больницы. Где этот дом и что в нём меня ждёт, я пока представлял смутно.

- Только условие, - мать загнула палец. - Лежать. Не читать. Каждый день мне показываться. В школу - не раньше пятницы, и то если голова не будет болеть.

- Хорошо, мам.

- И никуда. Слышишь, Костя? Никуда без спросу.

- Слышу, мам.

Мирон Кузьмич, вернувшийся с процедур, проводил меня как родного. Пожал руку, похлопал по плечу и посоветовал держаться подальше от курганов, потому что «там одни покойники, а с ними водиться - только время терять». Толик махнул здоровой рукой и снова отвернулся к стене.

На улице было солнце.

Я остановился на крыльце и зажмурился. Ночью город казался тёмной кляксой с редкими огнями, а сейчас, при свете, оказался неожиданно зелёным. Акации вдоль улицы только начинали распускаться, у заборов пробивалась трава, в палисадниках цвели жёлтые нарциссы. Небо было высокое, ярко-синее, с белыми полосками облаков, и в нём висел жаворонок, звеня так, будто его завели ключиком.

- Что встал? - дед тронул меня за локоть. - Голова кружится?

- Нет. Хорошо просто.

Дед хмыкнул и ничего не ответил, но мне показалось, что он посмотрел на меня как-то по-новому.

Пошли пешком. Мать объяснила, что автобус ходит раз в час и мы на него опоздали, а идти недалеко, минут двадцать. Я шёл между ней и дедом, стараясь не хромать: олешек в носке сползал к своду стопы и давил острым краем рога.

Город разворачивался вокруг неспешно, как свиток. Улица с одноэтажными домами вывела к площади. Посреди неё стоял Ленин на постаменте из серого гранита, протянув руку в сторону элеватора. На его крыше теперь читалась надпись: «Слава советскому хлеборобу!» У подножия постамента лежали вчерашние гвоздики, уже подвявшие.

На площади было людно. Женщины с авоськами стояли в очереди к жёлтой бочке на колёсах, на которой было крупно выведено «МОЛОКО». Из бочки наливали в бидоны и трёхлитровые банки. Рядом, у дверей магазина «Продтовары», курили двое мужиков в кепках. Мимо, грохоча, проехал грузовик с бортами, набитыми мешками, и обдал всех сизым дымом.

- Здрасьте, Валентина Семёновна!

- Здравствуй, Галочка.

- Здорово, Ильич!

- И тебе не хворать.

Здоровались с нами через каждые двадцать шагов. Мать отвечала, дед кивал, а на меня косились с любопытством, но с расспросами не лезли. Видимо, история уже облетела весь город, и подробности решили выяснить потом, без свидетелей.

Одна из женщин, полная, в мохеровом берете, всё-таки не выдержала и перегородила нам дорогу у самого магазина.

- Валя, это правда, что его из кургана вытащили? - она разглядывала меня, как экспонат под стеклом. - Говорят, он там клад искал.

- Правда, что вытащили. А клады пусть милиция ищет, Зинаида Петровна, - мать даже шаг не замедлила. - У нас и без кладов забот хватает.

- Так ведь люди говорят…

- Говорят, что в Москве кур доят, - дед подхватил меня под локоть. - Пошли, Костя.

Зинаида Петровна осталась стоять с открытым ртом, а мы свернули за угол.

Я дёрнул мать за рукав.

- Кто это?

- Мищенко. Соседка наша через три дома, - мать поджала губы. - У неё язык как помело. К вечеру весь город будет знать, что ты золото нашёл.

- А я не нашёл.

- Вот и хорошо, что не нашёл, - мать вдруг остановилась и посмотрела на меня очень серьёзно. - Костя, если ты там что-то взял… Хоть что-нибудь… Ты скажи. Отнесём куда надо, и всё.

- Ничего я не брал, мам.

Она смотрела ещё секунду, потом отвернулась и пошла дальше, быстрее прежнего.

У стенда «Доска почёта» мать замедлила шаг, и я понял почему. С третьей фотографии в верхнем ряду на меня смотрел дед. Моложе лет на пять, в пиджаке с орденскими планками, с серьёзным лицом человека, которого заставили позировать. Подпись гласила: «Гуров С. И., машинист бульдозера ПМК-17. Норму выполняет на 140 %».

- Ну чего уставились? - дед потянул нас дальше. - Пошли, пошли.

Значит, Гуров. И ПМК-17, где, по словам Пахомова, был один из трёх сварочных аппаратов района. Я сложил это в тот же пакет, где уже лежали олешек, щуп и золотые очки Шубина.

***

Улица Степная оказалась на самом краю города, там, где асфальт кончался и начиналась грунтовка, разбитая колёсами до двух глубоких колей. Дальше, за последними домами, лежала степь, ровная, как стол, и уходила к горизонту. Где-то там, в четырёх километрах, была Гнилая балка.

Дом под номером четырнадцать стоял за голубым штакетником. Небольшой, саманный, обложенный снаружи красным кирпичом, с зелёными ставнями и крыльцом под жестяным козырьком. Во дворе - вишня, ещё голая, колонка с длинной ручкой, сарай с навесом, поленница. На верёвке сушилось бельё.

Калитка заскрипела, и из-под крыльца выскочила собака. Рыжая, лохматая, на коротких лапах, с хвостом, закрученным в бублик. Она бросилась ко мне с радостным лаем, ткнулась носом в колени и вдруг замерла. Шерсть на загривке поднялась дыбом.

Собака зарычала. Низко, глухо, глядя мне в лицо.

- Жулик, ты чего? - мать опешила. - Свои это, свои!

Жулик не верил. Он пятился, рычал и не сводил с меня глаз. Я присел на корточки, медленно, не делая резких движений, и протянул ему ладонь.

- Свой я, Жулик, - тихо. - Теперь свой.

Он долго нюхал мою руку. Обошёл меня кругом, обнюхал сапоги, особенно правый. Потом сел и посмотрел мне в глаза с каким-то собачьим недоумением, будто спрашивал: а куда делся прежний? Я почесал его за ухом. Он подумал и ткнулся мокрым носом мне в ладонь.

- Головой стукнулся, вот и пахнет по-другому, - объяснил дед. - Лекарствами от него несёт. Они этого не любят.

Дверь дома распахнулась, и на крыльцо вылетела девчонка.

Лет двенадцати, худая, остроносая, с двумя тонкими косичками, торчащими в разные стороны. В школьной форме, но без фартука, с пятном чернил на манжете. Она скатилась по ступенькам и остановилась в шаге от меня, уперев руки в бока.

- Ну ты и дурак, Костька, - заявила она дрожащим голосом. - Ну ты и дурак!

И разревелась, уткнувшись мне в грудь.

Я обнял её неловко, не зная, куда девать руки. Сестра. У меня никогда не было сестёр, только двоюродный брат, с которым мы виделись раз в пять лет на похоронах. Нинка всхлипывала, мать гладила её по голове, дед кашлял в кулак и отворачивался.

- Нина, пусти его, ему лежать надо, - наконец вмешалась мать.

Нинка отлипла, вытерла нос рукавом и уставилась на меня мокрыми глазами.

- Мама говорит, ты всё забыл. Это правда?

- Почти всё.

- А меня как зовут?

- Нина, конечно.

- Это тебе мама сейчас сказала. А полностью?

- Нина Николаевна Рябинина, - рискнул я, вспомнив, как звали отца.

Нинка прищурилась.

- А в каком я классе?

- В шестом, - я ткнул пальцем в чернильное пятно на её манжете. - Ты сегодня писала диктант и поставила кляксу. Учительница тебя отругала, поэтому ты злая.

Нинка открыла рот. Мать и дед переглянулись.

- Откуда ты знаешь?

- Просто догадался.

Про класс я догадался по росту и по форме, а про кляксу - по пятну, которое ещё не успело высохнуть. Простое наблюдение, ничего больше. Но Нинка смотрела на меня так, будто я на её глазах достал из шляпы кролика.

- Ты стал какой-то странный, - вынесла она приговор и убежала в дом.

Внутри дом оказался больше, чем снаружи. Сени с вешалкой и рядом калош, кухня с белёной печкой и газовой плитой на две конфорки, к которой тянулась труба от красного баллона. Дальше - комната, которую мать называла залом. В зале стоял сервант с посудой за стёклами, круглый стол под скатертью с бахромой, диван, накрытый покрывалом, и телевизор «Рекорд» на тонких ножках, с кружевной салфеткой сверху. На стене над диваном висел ковёр, красно-бордовый, с узором из ромбов. Рядом с ковром - фотографии в рамках: свадьба, молодой солдат в пилотке, девочка в бантах на руках у бабушки.

- Твоя комната, - мать открыла дверь в конце короткого коридорчика. - Ложись. Я поесть принесу.

Комната была узкой, как пенал. Кровать у стены, письменный стол у окна, табуретка, полка с книгами, шкаф для одежды. На стене над столом висела большая самодельная карта района, склеенная из нескольких листов. Синим карандашом были нарисованы река и балки, чёрными точками - сёла, а красными кружками с номерами - курганы. Их было десятки. У Гнилой балки красных кружков было девять, с номерами по порядку.

Над кружком с номером четыре кто-то, видимо сам Костя, поставил маленький вопросительный знак.

Я сел на кровать и огляделся внимательнее. На полке стояли книги: потрёпанный том «Занимательной археологии», «Путешествие в страну скифов», два тома какой-то энциклопедии, «Три мушкетёра», «Таинственный остров», стопка журналов «Знание - сила» и «Техника - молодёжи». На подоконнике лежали лупа, линейка и жестяная банка из-под монпансье с выцветшей картинкой. Я открыл банку. Монеты. Медные пятаки и полушки, серебряные гривенники с орлами, несколько советских монет двадцатых годов, одна китайская с квадратной дыркой. Каждая завёрнута в бумажку, а на ней аккуратным почерком - год, место находки, дата.

«Пятак 1790 г., огород Мищенко, 12.05.1969».

Костя был полевиком. Маленьким, неопытным, но самым настоящим. Он фиксировал находки. В шестнадцать лет. Я в его возрасте собирал марки и врал, что погасил их сам.

На столе, придавленная учебником физики, лежала общая тетрадь в коричневой клеёнчатой обложке. На ней шариковой ручкой было выведено: «Курганы. Наблюдения. К. Рябинин».

Я потянулся к ней, но в коридоре зашаркали шаги, и в дверях появилась мать с тарелкой.

- Ешь. И спать. Я тебе завтра почитаю, если будешь хорошо себя вести.

Пришлось отложить тетрадь.

День прошёл в странной полудрёме. Я лежал, слушал звуки чужого дома и пытался понять, как он устроен. Мать ушла на работу, у неё была смена с двух. Дед возился во дворе: колол дрова, потом что-то чинил в сарае, тихо ругаясь. Нинка вернулась из школы, грохнула портфелем об пол, долго гремела кастрюлями на кухне и наконец заглянула ко мне.

- Ты есть будешь? Там суп.

- Буду. Спасибо, Нин.

Она застыла на пороге.

- Ты никогда мне спасибо не говорил.

- Значит, пора начинать.

Вечером, когда стемнело, мы ужинали втроём: я, дед и Нинка. Мать была на смене до ночи. Ели на кухне, за клеёнчатым столом под абажуром. Жареная картошка на огромной чугунной сковороде, квашеная капуста с луком, солёные помидоры из трёхлитровой банки, хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Дед поставил на стол бутылку «Жигулёвского» и налил себе в кружку.

- Ну, за то, что живой, - он поднял кружку в мою сторону и выпил залпом.

Ели молча. Дед жевал медленно, основательно, как всё делал. Нинка болтала ногами под столом и рассказывала про диктант, про училку, которая называла её неряхой, и про какую-то Таньку, которая сидит за ней и дёргает за косы. Я слушал, кивал и задавал вопросы. Нинка, кажется, удивлялась, что мне интересно.

- Дед, - спросил я, когда картошка кончилась. - А что такое ПМК?

Дед поперхнулся пивом.

- Совсем ты, парень, - он вытер усы ладонью. - Передвижная механизированная колонна. Мы канал роем. Оросительный, от Сармы до совхоза «Красный пахарь». Три года уже роем. Ты ж у меня на трассе сколько раз был.

- Не помню.

- Не помнишь, - дед покачал головой и уставился в кружку. - Ну и ладно. Может, оно и к лучшему.

- Это почему же?

Он долго молчал. Нинка перестала болтать ногами.

- Потому что ты на трассе всё по курганам лазил. Мы ж через них канал ведём. Как курган на пути - значит, срезать. План есть, проект утверждён. А ты бегал, кричал, что нельзя, что там древние люди. Ругался с Борисом Тимофеевичем.

- С кем?

- С бригадиром моим. С Гладких.

Фамилия легла в пакет рядом с остальными.

- А нельзя не срезать? - спросил я.

Дед посмотрел на меня тяжело.

- Можно, Костя. Если бумага есть, что нельзя. А бумаги нету. Значит, срезаем.

Я не стал спорить. Бумага в этой стране решала всё и в семьдесят первом году, и в две тысячи двадцать шестом. Разница была только в том, кто её подписывал.

После ужина я поднялся, собрал тарелки и понёс к рукомойнику.

- Ты чего? - Нинка вытаращила глаза.

- Посуду помою.

- Ты? Посуду?

- А что тут такого?

Дед отставил кружку и молча наблюдал, как я грею воду в чайнике, наливаю в таз, ищу тряпку и мою тарелки. Нинка сидела с открытым ртом. В конце концов она не выдержала, вскочила и отобрала у меня тряпку.

- Дай сюда. Ты всё равно неправильно делаешь. Сначала стаканы, потом тарелки, потом сковородку. Вот бестолочь.

- Учи, - я отдал тряпку. - Буду знать.

Она фыркнула, но я видел, что ей приятно.

Ночью дом спал. Мать ещё не вернулась, дед храпел в зале на диване, Нинка за занавеской в своём углу что-то бормотала во сне. Я лежал на спине, смотрел в темноту и ждал.

Олешек всё ещё лежал у меня в носке. Носок - на ноге. За день я так привык к его острому краю, что почти перестал замечать. Но дома носок рано или поздно отправят в стирку, а мать, судя по всему, наводила в доме порядок с армейской тщательностью.

Нужен был тайник. Не в доме: в доме ищут первым делом. И не в сарае: сарай - это дедова территория, и дед знает там каждый гвоздь.

Нужна была земля.

Я встал около часа ночи, натянул брюки и свитер и в одних носках вышел в сени. Сапоги я взял в руки. Дверь скрипнула, но дед продолжал храпеть, и я выскользнул на крыльцо.

Ночь была холодная и ясная. Над степью снова висела та самая звёздная каша, от которой в первую ночь у меня перехватило дыхание. Жулик выбрался из-под крыльца, потянулся и подошёл ко мне, виляя хвостом-бубликом. Он уже признал меня своим. Или решил, что ночная прогулка лучше, чем ничего.

В сарае я нашёл совковую лопату и небольшую садовую, с коротким черенком. Взял вторую. Потом поискал на полках и нашёл то, что нужно: пустую стеклянную банку из-под лекарства, с плотно притёртой пробкой. И моток бечёвки.

Вишня стояла в глубине двора, у забора. Старая, раскидистая, с толстым стволом в трещинах. Под ней прошлогодние листья лежали плотным ковром.

Я встал спиной к стволу и огляделся. Мне нужны были два ориентира, которые не сдвинутся и не исчезнут за ближайшие годы. Ствол вишни - первый. Второй - угловой столб забора, толстый, вкопанный глубоко, судя по всему, ещё при строительстве дома. Третий, для контроля, - угол сарая.

Рулетки у меня не было. Я навязал на бечёвке узлы. Пять узлов, отмеряя промежутки растопыренной пятернёй: у Кости от кончика большого пальца до мизинца выходило около двадцати сантиметров. Погрешность - пару сантиметров. Для тайника годится.

Метр двадцать от ствола вишни на юго-восток. Метр восемьдесят от углового столба. Два метра сорок от угла сарая.

Я разгрёб листья, вырезал лопаткой квадрат дёрна и аккуратно отложил его в сторону. Землю под ним копал медленно, складывая на расстеленный мешок, чтобы не разбросать по траве. Глубина - сорок сантиметров. Ниже, судя по цвету, начинался плотный суглинок, и копать его без шума было бы трудно.

Олешка я завернул в тряпочку, сунул в банку, плотно заткнул пробкой. Поставил банку на дно ямки. Засыпал землёй, утрамбовал ладонями. Положил дёрн на место. Сверху набросал листья.

Жулик всё это время сидел рядом и внимательно смотрел.

- Только никому, - шепнул я ему. - Понял?

Он вильнул хвостом.

Смешно. Сорок лет я занимался тем, что выкапывал из земли спрятанное. Тысячи погребений, сотни кладов, бесконечные ямы, траншеи, шурфы. А первый мой тайник в новой жизни я закопал сам, под вишней, во дворе чужого дома, глубокой ночью. Измерения запомнил наизусть, как номер телефона. Записывать не стал.

Будущий археолог, который когда-нибудь найдёт эту банку, получит загадку на всю жизнь. Если, конечно, я не успею его опередить.

Я вернул инструмент в сарай, отряхнул штаны и тихо прокрался в дом. Дед храпел. Нинка бормотала. Я дошёл до своей комнаты, закрыл дверь и только тогда позволил себе выдохнуть.

На столе лежала тетрадь в клеёнчатой обложке.

Я включил настольную лампу, накрыл её свитером, чтобы свет не бил в окно, и открыл тетрадь на первой странице.

Почерк у Кости был мелкий, ровный, с наклоном вправо. Первые страницы занимали описания курганов, скопированные, судя по всему, из какой-то старой книги или отчёта: номер, высота, диаметр, состояние насыпи. Рядом - аккуратные рисунки, в плане и в профиле. Мальчишка явно учился у кого-то, кто знал, как надо.

Курган номер один. Курган номер два. Номер три. Каждому - по странице, иногда по две.

Номер четыре занимал три страницы. На первой - описание и рисунок насыпи. На второй - план, на котором кто-то провёл стрелку с юга, наискось, к центру, и подписал: «так короче, по старому плану 1936 г.».

На третьей странице было всего три строчки, торопливых, неровных, совсем не похожих на остальной почерк:

« 4 - копали ночью. Уже пятую ночь. Г. говорит, ещё две ночи - и будем в камере.

Я больше не хочу».

Дальше страниц не было. Их вырвали. Под самым корешком торчали неровные бумажные лохмотья, штук десять.

Глава 4

Сарматовск, пятница, 9 апреля 1971 года. База ПМК-17.

Борис Тимофеевич Гладких приезжал на базу в половине седьмого, за полчаса до наряда. Так было заведено ещё с тех пор, как он сам ходил в бульдозеристах: кто первым пришёл, тот и хозяин дня. Двадцать лет прошло, а привычка осталась.

База стояла на выезде из города, у старого кирпичного завода. Забор из бетонных плит, ворота на цепи, сторожка с печкой. Внутри - площадка, разбитая гусеницами в кашу, и вдоль неё в ряд техника: три бульдозера ДТ-75, тяжёлый С-100 с отвалом шириной в полкомнаты, скрепер, два самосвала и экскаватор, похожий на ржавую цаплю. Дальше - мастерские под шиферной крышей, склад ГСМ и контора. Контора была обычным строительным вагончиком на полозьях, выкрашенным в зелёный цвет, с крылечком из трёх ступенек.

Гладких отпер вагончик своим ключом, включил свет и электрическую плитку. Поставил на неё чайник, снял плащ, повесил на гвоздь. Сел за стол и раскрыл график.

График висел над столом, приколотый кнопками, разлинованный от руки. Красная линия шла вдоль трассы канала от Сармы на восток. Километр за километром. Пикет за пикетом. Где линия была сплошной, там канал уже прорыт и облицован. Где пунктиром - там ещё работа.

Пунктир упирался в квадратик с надписью «ПК 47+20. Курган».

Пятый курган у Гнилой балки. По проекту - срезать до материка, грунт в отвал, трассу выровнять. Срок - до двадцатого апреля. Потом начиналась облицовка: раствор возили из Ростова по графику, и если к приходу машин русло не будет готово, их развернут на другой объект. А вместе с ним уйдут премия, переходящее знамя и место в областной сводке.

Гладких смотрел на квадратик и думал о четвёртом кургане.

Чайник засвистел. Он заварил чай прямо в кружке, крепкий, тёмный, бросил три куска рафинада и сидел, помешивая ложкой, пока за окном не начали собираться люди.

Наряд он провёл быстро, как всегда. Мужики стояли полукругом у вагончика, курили, слушали. Кому на трассу, кому в мастерские, кому на ремонт. Сварщик Лёха Брагин опять пришёл с опухшим лицом, и Гладких сделал ему замечание, коротко, при всех. Лёха опустил голову и пробормотал, что больше не будет.

Последним в полукруге стоял Гуров. Сухой, прямой, в чистой спецовке, с руками за спиной.

- Семён Ильич, ты на пятый курган, - Гладких сверился с бумажкой. - С понедельника начинаешь. Сегодня технику проверь, завтра выводи на трассу.

- Понял, сделаю.

- Как внук?

Вопрос прозвучал буднично, мимоходом. Мужики оживились. Вся база со вчерашнего дня гудела об этом.

- Живой, - Гуров не изменился в лице. - Дома лежит. Ничего не помнит, голова ушибленная.

- Совсем ничего?

- Совсем. Меня, говорит, узнаёт, мать тоже. А как в курган полез - нет.

- Ну, дай бог, отойдёт, - Гладких кивнул. - Ты его к трассе больше не пускай. Курганы курганами, а у нас тут техника, мало ли.

Гуров ничего не ответил. Только посмотрел на бригадира долгим, тяжёлым взглядом, развернулся и пошёл к своему бульдозеру.

Гладких проводил его глазами. Гурова он уважал. За двадцать лет работы бок о бок старик ни разу не запорол ни одной смены, ни разу не пришёл пьяным, ни разу не отказался выйти в выходной. Вкалывал так, как умеют только фронтовики: им после войны любая смена

кажется отдыхом. Таких на базе было ещё трое, и все трое уходили на пенсию в этом году или в следующем. Кем их заменить, Гладких не представлял.

И вот внук такого человека…

Он вернулся в вагончик и закрыл дверь.

В семь тридцать у ворот затормозила серая «Волга». Гладких услышал её раньше, чем увидел: двигатель у неё работал мягко, почти неслышно, и только шуршание шин по гравию выдало гостя. Он отодвинул занавеску. Из «Волги» вышел Кулешов, огляделся и направился к вагончику.

Следом за ним с пассажирского сиденья вылез Генка.

Аркадий Ильич Кулешов был невысоким, полным мужчиной лет сорока пяти, всегда хорошо одетым. Сегодня на нём было светлое пальто, импортное, с поясом, и шляпа с короткими полями. Ботинки блестели, хотя до вагончика надо было пройти по раскисшей площадке. Кулешов прошёл её так, что на ботинках не осталось ни пятнышка. Как он это делал, Гладких не понимал уже лет пять.

Генка шёл следом, сунув руки в карманы солдатской шинели без погон, сгорбившись и глядя под ноги.

- Доброе утро, Борис Тимофеевич, - Кулешов снял шляпу. - Не помешали?

- Заходите, не стойте.

Он запер дверь за ними на щеколду и задёрнул занавеску. Кулешов сел на единственный свободный стул, положил шляпу на колено. Генка остался стоять у двери.

- Чаю налить?

- Спасибо, не стоит. Я ненадолго, у меня в девять ревизия из потребсоюза, - Кулешов улыбнулся, но глаза у него не улыбались. - Давайте сразу о деле. Генадий, покажи.

Генка достал из внутреннего кармана шинели свёрток. Обычный носовой платок, связанный узлом. Положил на стол, развязал.

На платке лежало семь маленьких золотых бляшек. Каждая - размером с ноготь, круглая, в виде розетки с лепестками, с крошечными петельками на обороте. Рядом - горсть бронзовых наконечников стрел, позеленевших, трёхгранных. И обломок чего-то вроде браслета, тоже золотого, толщиной с карандаш.

Гладких смотрел на это и испытывал то же, что и каждый раз: смесь брезгливости и тупого, тяжёлого удивления. Вот это - всё? Пять ночей. Шесть кубов земли руками. Пацан в завале. Ради горсти мелочи, которая поместится в спичечный коробок.

- Негусто, - Кулешов будто прочитал его мысли. Он достал из кармана пальто лупу в чёрной оправе и стал рассматривать розетки одну за другой. - Хотя работа тонкая. Ювелирная. Олег Константинович будет доволен.

- Это не всё, - Генка заговорил хрипло, не поднимая глаз. - Там ещё было.

- Что ещё?

- Олень там был.

Кулешов опустил лупу.

- Какой олень?

- Ну, как на той картинке, что вы показывали. Олень, лежит, ноги поджал. Рога вот так, - Генка изобразил рукой волну. - Большой, с коробок.

В вагончике стало очень тихо. Слышно было, как за стеной рычит, прогреваясь, бульдозер Гурова.

- И где он? - тихо поинтересовался Кулешов.

- У Костьки.

- Откуда ты знаешь?

- Я видел. Я ему фонарём светил. Он там, внутри, в камере, всё руками разгребал. Подавал мне что находил, я складывал. А потом он его нашёл. Я видел, как он его в руке держал.

Я ему говорю: давай сюда. А он не даёт. Говорит: щас, ещё немного, тут ещё что-то есть. А потом там сверху как посыплется…

- И ты убежал, - закончил Гладких.

Генка втянул голову в плечи.

- Я думал, всё. Думал, его насмерть. Там земли столько упало…

- Бросил, значит, пацана в завале, - Гладких выговаривал каждое слово медленно и раздельно. - И дал дёру. С фонарём. Он там в темноте лежал, задыхался, а ты бежал по балке.

- Борис Тимофеевич, я…

- Ты понимаешь, что если бы дед его не откопал, тут бы сейчас не Пахомов ходил, а следователь из области? По мокрому делу? Ты это понимаешь, солдат?

Генка молчал. Лицо у него стало серым.

- Ну будет, Борис Тимофеевич, - Кулешов поднял руку. - Не дети же. Что было, то прошло. Мальчик жив, мальчик ничего не помнит. Всё обошлось.

- Обошлось, - Гладких отвернулся к окну. - Ну да.

Он не любил Кулешова. Никогда не любил, с первого дня, как тот появился в Сарматовске пять лет назад, переведённый из Ростова с повышением. Слишком мягкий голос. Подозрительно чистые ботинки. Но Кулешов умел добывать то, чего не мог достать никто: запчасти, фонды, лимиты на солярку. Умел решать вопросы в райкоме. А главное, у Кулешова были люди в Москве. Люди, которые платили.

И это Гладких понимал. В этом месяце из-за перерасхода солярки и задержки с облицовкой его бригада теряла квартальную премию. Двадцать семь человек, у каждого семья. А курганы всё равно шли под нож. Пятый по проекту, восьмой и девятый в следующем году. Бульдозер не спрашивает, есть там золото или нет. Он просто сгребает всё в кучу, а кучу потом закатывают катком. Он видел это своими глазами, раз двадцать за свою жизнь на трассе. Кости, черепки, какие-то ржавые железки. Иногда зелёные кругляши, которые мужики выковыривали из отвала и несли детям поиграть.

Так пусть лучше людям. Пусть лучше пользу принесёт. Чем бульдозером в отвал.

Так он уговаривал себя в ту ночь, когда Кулешов впервые завёл этот разговор. Повторял и потом.

Только пацана в завале в этом уговоре не было.

- Аркадий Ильич, - Гладких повернулся от окна. - А откуда мы знаем, что олень у мальчишки? Только с его слов?

Он кивнул на Генку.

- Я видел! - тот дёрнулся. - Я своими глазами…

- Ты видел, как пацан держал оленя в камере. А потом на вас обвалилось. Что было дальше, ты не видел, потому что бежал. Может, олень так и остался в завале. Или, - Гладких выдержал паузу. - Или он у тебя в кармане.

- Борис Тимофеевич!

- Я спрашиваю. Имею право.

Кулешов посмотрел на Генку внимательно, с интересом, как смотрят на товар, который вдруг оказался не того сорта. Генка побелел ещё сильнее.

- Да вы что… Да я… Обыщите! Хотите - обыщите! И дома тоже!

- Сядь, - Гладких махнул рукой. - Никто тебя обыскивать не будет.

- А может, и стоило бы, - мягко заметил Кулешов. - Олег Константинович за этого оленя платит больше, чем за всё остальное, вместе взятое. Он ему нужен в пару. У него один такой уже есть. Тот самый, с картинки.

- Из музея, - уточнил Гладких.

Кулешов поморщился, как от кислого.

- Борис Тимофеевич, не нужно лишних слов. Даже здесь.

Гладких промолчал. Про то, откуда у москвича взялся первый олень, он узнал случайно, полгода назад, от самого Кулешова, который в тот вечер выпил лишнего. И с тех пор старался об этом не думать. Шубина он знал с детства. Тихий, вежливый очкарик, первый в классе и при галстуке. Теперь вот директор музея. Член райкома. Лектор общества «Знание».

Гладких тогда долго сидел у себя на кухне, курил и пытался понять, как такое возможно. Потом понял. Шубину тоже нужны были деньги. Они всем нужны. Особенно тем, кто ходит при галстуке.

- Итак, - Кулешов сложил руки на колене. - Два варианта. Первый: олень в завале. Тогда его надо достать, пока курган не начали изучать какие-нибудь умники из области. Второй: олень у мальчика. Тогда его тоже надо достать.

- Из завала я больше не полезу, - глухо пробормотал Генка. - Там всё поплыло. Там теперь только экскаватором.

- Значит, экскаватором, - Кулешов повернулся к Гладких. - Борис Тимофеевич, у вас ведь есть такая машина?

- Есть. Только не про вашу честь. Курган четвёртый вне трассы. Если я туда пригоню экскаватор, через час будет знать весь район.

- Жаль, - Кулешов вздохнул. - Тогда остаётся мальчик.

- Мальчик ничего не помнит.

- Это мы знаем со слов деда. И со слов Вениамина Аркадьевича, - Кулешов снова улыбнулся одними губами. - Он, кстати, навестил его в больнице. С апельсинами. Очень трогательно.

- Ну и что?

- А то, что Вениамин Аркадьевич нервничает. Он вчера вечером звонил мне домой. Говорит, мальчик смотрел на него странно. Не как больной ребёнок. Как следователь, говорит. Как будто всё про него знает.

Гладких хмыкнул.

- Шубину везде следователи мерещатся. Он сам от себя шарахается.

- Возможно, - Кулешов не спорил. - Но я бы не стал рисковать. Если мальчик помнит, он может пойти в милицию. К Пахомову. А тот, извините, не Сидоренко. Его не купишь.

Это была правда. Прежний участковый, Сидоренко, брал рыбой, водкой и запчастями к мотоциклу, и за пять лет его службы в районе ни одно дело не дошло до суда. А Пахомов за полтора года посадил двух шоферов с автобазы за слив бензина и одного завскладом за сахар. И теперь вот носился по району со щупом в наволочке.

Гладких вспомнил щуп и нахмурился.

- Щуп у него, - он повернулся к Генке. - Кто варил ручку?

Генка сглотнул.

- Лёха варил.

- Брагин, что ли?

- Он. В мастерских, в обед. Я ему бутылку дал.

Гладких выругался. Коротко, сквозь зубы, отвернувшись к стене, чтобы не при госте.

- Пахомов вчера был в мастерских, - медленно выговорил он. - Ходил с этой наволочкой, показывал сварку. Спрашивал, кто такие швы кладёт. Мужики ему сказали: у нас все так кладут. А Лёха сегодня с опухшей рожей.

- Он не скажет, - Генка торопливо замотал головой. - Лёха свой. Он не скажет.

- Лёха пьёт. А пьющий человек, Гена, говорит всё. Сначала жене, потом собутыльнику, потом участковому. Это у них так по порядку.

Кулешов слушал этот разговор с выражением человека, который случайно зашёл не в тот кабинет.

- Борис Тимофеевич, - наконец вмешался он. - Брагин - ваша забота. Мальчик - тоже ваша. Он внук вашего работника, вам и карты в руки. Но у меня тоже есть кое-что.

Он достал из кармана пальто записную книжку в кожаном переплёте, полистал.

- Рябинин Николай Петрович. Шофёр автобазы, ГАЗ-51, номер такой-то. Отец мальчика. В прошлом году взял у меня в долг двести рублей на холодильник «Саратов». И ещё сто пятьдесят в январе, на ковёр жене к Восьмому марта. Итого триста пятьдесят. Срок возврата - первое мая.

- Сумма немаленькая.

- Для шофёра - неподъёмная. Он рассчитывал на премию за уборочную. Премию ему урезали из-за аварии в октябре. Я узнавал.

Гладких смотрел на Кулешова и думал, что этот человек узнаёт про всех. Про каждого в городе. Кто кому должен, кто с кем спит, кто где ворует. И хранит всё это в кожаной книжечке, как кассир сдачу.

- И что вы собираетесь делать?

- Ничего. Просто напомнить Николаю Петровичу о долге. Вежливо. Когда он вернётся из рейса. Сегодня вечером, я полагаю. А заодно намекнуть, что долг можно и простить. Если, например, его сын вернёт одну вещь, которую случайно взял. Без всякой милиции. По-хорошему.

- А если мальчишка ничего не брал?

- Тогда отец ничего не найдёт, и долг останется долгом, - Кулешов спрятал книжку. - Мы в любом случае не в убытке.

Гладких молчал. Ему очень не нравился этот план. Но предложить другой он не мог.

- Генка, - он повернулся к парню. - Пацан тебя видел? Там, у кургана? Он тебя знает?

- Знает, конечно, - Генка удивился вопросу. - Мы ж с ним месяц уже. Он нам схемы рисовал. Он же всё знает: где в тридцать шестом копали, где что нашли. Его этот, старик, научил. Штерн.

- А теперь он говорит, что ничего не помнит. И тебя, значит, тоже.

- Ну да, выходит, так.

- Тогда вот что. Будешь за ним присматривать. Издалека. Куда ходит, с кем говорит. Особенно - бывает ли у Штерна и у Пахомова. Подходить не смей. Если он и правда не помнит, нечего ему напоминать. А если врёт… - Гладких помолчал. - Если врёт, сам себя выдаст. Рано или поздно.

- А если к Пахомову пойдёт?

- Тогда сразу ко мне. Бегом.

Генка закивал.

Кулешов поднялся, надел шляпу, застегнул пальто. Розетки и наконечники он аккуратно завернул обратно в платок и спрятал во внутренний карман.

- Это я забираю. Олег Константинович приезжает в мае, к Девятому, на встречу ветеранов. Хотелось бы к его приезду иметь полный комплект. Полный, Борис Тимофеевич.

- Я понял.

- И ещё, - Кулешов задержался в дверях. - Пятый курган. Тот, что по трассе. Когда вы его начинаете?

- В понедельник.

- Нельзя ли раньше? Или, наоборот, позже? Я бы хотел, чтобы до бульдозера туда сначала заглянул Гена. На пару ночей.

- Нет, не выйдет, - отрезал Гладких.

Кулешов поднял брови.

- Вот как?

- Нет. Пятый курган - на трассе. Там Гуров работает. Там каждый день люди. Там проект, там сроки. Хватит одного четвёртого.

- Как скажете, - Кулешов пожал плечами. - Вам виднее. Но подумайте. Бульдозер всё равно всё сгребёт в отвал. А так хоть людям польза.

Он вышел, мягко прикрыв за собой дверь. Через минуту за окном зашуршали шины, и серая «Волга» уехала.

Генка остался стоять у двери, переминаясь с ноги на ногу.

- Борис Тимофеевич…

- Иди. На трассу иди. Скажешь, я послал помогать Гурову с техникой.

- Так он же…

- Иди, говорю. Будешь рядом со стариком - будешь знать, что дома у них творится. Он молчун, но иногда говорит. Особенно когда устанет.

Генка вышел.

Гладких посидел минуту, потом надел плащ и пошёл в мастерские.

Лёха Брагин сидел на перевёрнутом ящике у верстака и пил воду из ковшика, жадно, проливая на спецовку. Сварочный аппарат стоял рядом, укрытый брезентом. Увидев бригадира, Лёха вскочил и чуть не уронил ковш.

- Борис Тимофеевич, я ж сказал, больше ни-ни…

- Сядь, не мельтеши.

Лёха сел обратно на ящик.

- Пахомов вчера тут был?

- Был, - Лёха отвёл глаза. - С железкой своей. Всем показывал.

- Тебе тоже?

- И мне. Спрашивал, чья работа. Я ему: не знаю, у нас тут пять человек варить умеют.

- А он?

- А он посмотрел так… - Лёха поёжился. - И ушёл. Борис Тимофеевич, я ж не знал, на что Генке этот щуп. Он сказал - на рыбалку, раков из нор шуровать.

Гладких смотрел на него сверху вниз. Лёхе было тридцать два, у него было трое детей, жена-доярка и печень, которую врачи в прошлом году обещали отрезать по частям. Варил он лучше всех в районе. Когда был трезвый.

- Слушай меня внимательно, Алексей. Ты про этот щуп ничего не знаешь. Никогда его не видел. Генку в обед не видел. Бутылку не брал. Ясно?

- Ясно, как не ясно.

- И ещё. До первого мая - ни капли. Ни у кого. Ни с кем. Увижу пьяным - уволю по статье, и никакие дети тебе не помогут.

- Понял, Борис Тимофеевич.

Гладких вышел из мастерских, не оглядываясь. Он знал, что Лёха продержится в лучшем случае неделю. Пьющий человек держит слово ровно до первой получки.

Гладких сел за стол и долго смотрел на график. На красную линию, на пунктир, на квадратик с надписью «ПК 47+20. Курган».

Чай в кружке остыл, и на поверхности плавала радужная плёнка. Он вылил его в ведро под столом, налил из чайника свежий кипяток и снова бросил три куска сахара.

«Так хоть людям польза». Кулешов произнёс это теми же словами, которыми Гладких сам себя уговаривал полгода. И почему-то от этого стало ещё противнее.

За окном взревел дизель. Гуров выводил свой бульдозер на площадку для проверки. Старик сидел в кабине прямо, неподвижно, руки на рычагах, и смотрел вперёд, не поворачивая головы. Как будто на параде.

Гладких отвернулся от окна.

Пацан в завале. Дед его откапывает руками. Ночью, один, в балке.

Он вспомнил своего собственного сына, Витьку, который служил сейчас на Дальнем Востоке, и почему-то подумал, что если бы на месте Гурова был он сам, то тоже копал бы руками. И тоже всю ночь. И тоже никому бы этого не простил.

Сахар в кружке растаял. Гладких мешал его ложкой и не мог остановиться.

Глава 5

Сарматовск, пятница, 9 апреля 1971 года. Средняя школа 2.

— Ты галстук не так завязал, — Нинка остановилась посреди улицы и уставилась на мой ворот. — Ты что, и узел вязать разучился?

— Какой ещё галстук? Я в комсомоле.

— Ну так и есть. Значок на месте, а рубашка застёгнута не на ту пуговицу. Стой.

Она привстала на цыпочки и перестегнула мне ворот. Пальцы у неё были ледяные и пахли чернилами.

Мать отпустила меня в школу с третьей попытки. Сначала было «нет», потом «посмотрим», а потом, когда я доказал, что голова не болит, хожу ровно и даже могу пересказать вчерашнюю передачу по радио, махнула рукой: «Иди. Но если что — сразу домой». Мне нужно было в школу. Там были люди, которых знал Костя. Чем раньше я их увижу, тем меньше шансов, что кто-нибудь из них застанет меня врасплох.

Школьную форму я нашёл в шкафу, на вешалке, под чехлом из старой простыни. Серый шерстяной пиджак, брюки со стрелками, ремень с пряжкой. Рукава оказались коротковаты: Костя, видимо, вырос за зиму. На лацкане пиджака сидел комсомольский значок, красный, с профилем Ленина.

Нинка взялась быть моим проводником. Сама, без просьб. Как только мы вышли за калитку, она сунула мне свой портфель, взяла меня под руку и повела, давая пояснения, как экскурсовод.

— Это дом Колесниковых. У них собака злая, кусается. Это Мищенко, где тётя Зина, ты её вчера видел. Это магазин, тут хлеб по утрам. Это колонка. Тут всегда грязь, обходи справа. Это…

— Нин, я понял. Это колонка.

— Ты не понял. Ты прошлой осенью тут в грязь упал, весь класс видел.

— Вот теперь понял.

Школа номер два стояла в центре, недалеко от площади с Лениным. Двухэтажное здание из красного кирпича, с высокими окнами и широким крыльцом. Над входом — лозунг на кумаче: «Учиться, учиться и ещё раз учиться! В. И. Ленин». Во дворе — спортивная площадка с турником и брусьями, а у забора — куча ржавого железа, огороженная штакетником, с табличкой «9 „Б“. Сбор металлолома. Норма — 30 кг на ученика».

— Сегодня после уроков таскаем, — Нинка кивнула на кучу. — У вас «А» класс обгоняет. Света Ломакина вчера ругалась.

— Кто такая Света Ломакина?

Нинка посмотрела на меня с жалостью.

— Комсорг ваш. Она всех строит. Тебя тоже.

У крыльца толпились школьники. Младшие в синих курточках, с красными галстуками, носились по двору, как стая воробьёв. Старшеклассники стояли кучками, курили за углом, хотя курить было, конечно, нельзя. Девочки в коричневых платьях и чёрных фартуках шушукались у входа.

Когда мы с Нинкой подошли, шушуканье стихло. Все повернулись ко мне.

— Ну всё, — прошептала Нинка. — Я пошла. Удачи тебе, Профессор.

И сбежала, бросив меня одного.

Профессор. Значит, так Костю звали в классе. Не самое плохое прозвище для мальчика, который рисует курганы и собирает пятаки. Хуже было бы «Ботаник» или «Очкарик». Впрочем, ботаников в семьдесят первом, кажется, ещё не изобрели.

Я поднялся на крыльцо, стараясь не смотреть по сторонам. Внутри пахло мастикой для пола, мелом и подгоревшей кашей из столовой. На стене напротив входа висел портрет Ленина в золотой раме и стенд «Ими гордится школа» с фотографиями отличников. В углу стояли вешалки, где дежурные с красными повязками на рукавах принимали пальто.

В раздевалке меня догнал коренастый парень с соломенными вихрами и широким, курносым лицом. Он хлопнул меня по плечу так, что я чуть не уронил Нинкин портфель.

— Профессор! Живой!

— Живой вроде.

— Ну ты даёшь! — он оглядел меня с ног до головы. — Говорят, ты в курган залез, тебя там завалило, дед откапывал. И что ты там три часа лежал.

— Меньше. Минут пять, наверное.

— А говорят — три часа, — парень, похоже, был разочарован. — И чего ты там искал?

— Не помню.

— Что, совсем?

— Совсем. Я тебя, например, тоже не помню.

Парень открыл было рот и тут же его захлопнул.

— Да брешешь.

— Не брешу. Честно.

— Гоша я. Бурцев. Мы с тобой за одной партой с пятого класса. Ты у меня алгебру списываешь, а я у тебя историю. У меня мопед «Рига», зелёный. Я тебя на нём в прошлом месяце до Гнилой балки возил. Не помнишь?

— Не помню.

Гоша почесал затылок.

— Ну дела. Ладно. Пошли, звонок сейчас. Литература первая. Ирина Павловна сегодня злая, у неё сын в армию уходит.

***

Класс девятый «Б» располагался на втором этаже, в конце коридора. Тридцать парт в три ряда, доска, учительский стол, над доской — портреты Толстого, Достоевского и Горького. На стенах — таблицы, стенгазета «Комсомольский прожектор», кадка с фикусом у окна.

Когда я вошёл, тридцать голов повернулись в мою сторону, как подсолнухи. Разговоры смолкли.

— Здорово, Профессор! — крикнул кто-то с задней парты.

— И тебе здорово, — отозвался я и пошёл за Гошей ко второму ряду.

Наша парта стояла в середине, у прохода. Гоша сел слева, я справа. Парта была деревянная, с откидной крышкой и чернильницей-непроливайкой в гнезде, хотя перьевыми ручками уже давно никто не писал. На крышке кто-то вырезал перочинным ножом: «Г + Т =?» и чуть ниже, другим почерком: «Профессор — зануда».

Я провёл пальцем по надписи. Гоша покраснел.

— Это не я, — быстро буркнул он. — Это Кузя в седьмом классе. Я его потом в туалете макнул.

— Спасибо, Гош.

— Да ладно, чего ты.

Прозвенел звонок. Электрический, резкий, как сигнал воздушной тревоги. В класс вошла учительница.

Ирина Павловна оказалась женщиной лет пятидесяти, худой и прямой, в тёмно-синем костюме с белой блузкой. Волосы собраны в узел на затылке, на носу — очки в роговой оправе. В руках — классный журнал и стопка тетрадей. Класс встал, громыхнув крышками парт.

— Садитесь, — она положила журнал на стол. Окинула класс взглядом и задержалась на мне. — Рябинин. Как самочувствие?

— Хорошо, Ирина Павловна. Спасибо.

— Мама звонила. Говорит, у тебя частичная потеря памяти. Это правда?

— Правда, Ирина Павловна.

— Что ж, — она сняла очки, протёрла их платком и снова надела. — Значит, «Войну и мир» тебе придётся перечитывать заново. Счастливый человек.

Класс засмеялся. Я тоже. Ирина Павловна, кажется, была не так уж зла.

Урок был про Андрея Болконского и небо Аустерлица. Ирина Павловна читала вслух отрывок, потом задавала вопросы, потом вызывала к доске. Меня не вызвала, только поглядывала время от времени, проверяя, слушаю ли.

Я слушал. «Войну и мир» я перечитывал в последний раз лет в сорок, в экспедиции, когда на неделю зарядили дожди и нечего было делать, кроме как сидеть в палатке. Читал тогда совсем другими глазами, чем в школе. Болконский казался мне не героем, а очень уставшим человеком, которому надоело жить по чужим правилам.

Сейчас, сидя за школьной партой в теле шестнадцатилетнего, я слушал про небо Аустерлица и думал, что Толстой знал что-то очень важное про смерть. Что после неё всё становится тихим и далёким. И что потом можно встать и пойти дальше. Только идти придётся совсем другим человеком.

— Рябинин, — голос учительницы вырвал меня из задумчивости. — Ты где витаешь?

— Под Аустерлицем, Ирина Павловна.

Класс снова засмеялся. Учительница посмотрела на меня с интересом.

— И что ты там видишь?

— Небо, — я пожал плечами. — Высокое. И понимаю, что всё, за что я раньше переживал, было не очень важно.

В классе стало тихо. Ирина Павловна смотрела на меня поверх очков, и я понял, что опять ляпнул что-то не Костино. Что-то слишком взрослое.

— Хорошо, — наконец произнесла она. — Очень хорошо, Рябинин. Сядь. Это, кстати, и есть ответ на мой следующий вопрос.

***

На перемене ко мне подошла девушка.

Высокая, стройная, с тёмными волосами, подстриженными под каре, и короткой чёлкой. Коричневое платье, чёрный фартук с комсомольским значком и ещё каким-то, синим с белым. Лицо серьёзное, даже строгое, нос с лёгкой горбинкой. В руках — блокнот.

— Рябинин, — она встала у нашей парты, как прокурор. — Ты в курсе, что у тебя хвост по металлолому?

— Света, отстань от человека, — Гоша поднял голову. — Он больной.

— Больные лежат дома. А раз пришёл в школу, значит, здоровый, — она раскрыла блокнот. — Рябинин, по ведомости за тобой двадцать два килограмма. У «А» класса уже девятьсот, у нас семьсот восемьдесят. Если сегодня не наберём, вымпел опять уйдёт к ним.

Значит, это и есть Света Ломакина, комсорг. Я её сразу признал по нинкиной характеристике. Строит всех. Меня тоже.

— Сегодня после уроков, — я кивнул. — Наберу.

— И ещё, — Света перевернула страницу. — Двенадцатого апреля линейка. Десять лет полёту Гагарина. С нас стенгазета. Ты рисуешь портрет. Как обычно.

— Как обычно?

— Ну да. Ты же у нас художник, — она нахмурилась. — Только не говори, что разучился.

Я посмотрел на свои руки. На тонкие, худые пальцы с обгрызенными ногтями. Костя, оказывается, умел рисовать. Его курганы в тетради были нарисованы чисто, уверенно, с тенями и штриховкой. А я в своей прошлой жизни рисовал только планы раскопов, и то по клеточкам миллиметровки. Человеческое лицо у меня выходило похожим на картофелину с ушами.

— Может, и разучился, — честно признался я. — Не знаю. Попробую.

— Попробуй, — Света захлопнула блокнот. — Понедельник, восемь утра. Портрет должен висеть.

Она ушла, громко стуча каблуками.

— Вот зараза, — с восхищением выдохнул Гоша. — Она в райкоме говорила, что у неё лучший класс в районе. Теперь доказывает.

— А кто ещё в классе рисует? Кроме меня?

Гоша задумался.

— Ну… Гордеева. Лидка. Она тоже рисует, только всё больше цветочки. И натюрморты. Её в стенгазету не берут, Света говорит, у неё слишком несерьёзно.

— Где она сидит?

Гоша кивнул на третий ряд, к окну.

У окна, за последней партой, сидела девочка с длинной русой косой, переброшенной через плечо. Она что-то рисовала в тетради, низко наклонив голову, и не обращала внимания на шум перемены. Когда я посмотрел на неё, она подняла глаза.

Глаза у неё были светло-карие, почти янтарные, и смотрели прямо. Не робко, не кокетливо. Внимательно, как смотрит на тебя человек, который пытается что-то понять. Она задержала на мне взгляд на секунду дольше, чем нужно, и снова опустила голову к тетради.

— Чего ты на неё уставился? — Гоша ткнул меня локтем.

— Просто так.

— Ага. Просто так, — Гоша ухмыльнулся. — Ты на неё весь прошлый год уставлялся. Только подойти боялся.

— Что, правда?

— Ну. Тебе ж сказали, профессор. Цветочки, натюрморты, а ты — курганы. Вы бы с ней друг друга не поняли.

Остаток дня прошёл как в тумане. Алгебра, где я к своему ужасу обнаружил, что совершенно не помню, как решать тригонометрические уравнения: последний раз я их видел сорок пять лет назад и с тех пор благополучно забыл. Учительница математики, полная и добродушная, сжалилась и не стала меня вызывать. Физика, где всё вышло наоборот.

Физик, Пётр Семёнович, маленький, лысый, в кургузом пиджаке с мелом на рукавах, начал урок с вопроса на засыпку.

— Кто мне объяснит, почему утром у мотоцикла на морозе не заводится двигатель? Бурцев, ты у нас на мопеде гоняешь. Давай.

Гоша встал, покраснел и понёс что-то про аккумулятор, который «садится от холода». Пётр Семёнович послушал, покачал головой и обвёл глазами класс.

— Ещё версии?

С задней парты поднялся широкоплечий парень с узким лбом и стрижкой под полубокс.

— А потому что бензин замерзает, Пётр Семёныч!

Класс заржал.

— Кузьмин, если бы бензин замерзал, у нас бы вся страна зимой пешком ходила, — физик снял очки. — Ещё?

Я поднял руку раньше, чем подумал. Привычка: за сорок лет на кафедре я так и не научился молчать, когда знаю ответ.

— Масло густеет, Пётр Семёнович. Стартеру тяжело провернуть коленвал. А бензин на холоде плохо испаряется, смесь в цилиндре получается бедная, искра её не поджигает. Поэтому подсос и прогревают.

Пётр Семёнович надел очки обратно и посмотрел на меня так, будто я заговорил по-китайски.

— Рябинин, ты где этого набрался?

— Не помню, — честно ответил я.

— Головой надо почаще стукаться, Профессор! — крикнул Кузьмин с задней парты.

На этот раз класс заржал над ним.

***

География, история, физкультура, с которой меня отпустили по справке.

На большой перемене в столовой давали пирожки с повидлом по пять копеек и компот из сухофруктов по три. Я купил на свою двадцатикопеечную монету по два того и другого, для себя и Гоши. Гоша посмотрел на меня как на сумасшедшего.

— Ты чего, богатый стал?

— Ты меня от Кузи защищал. Это благодарность.

— Это ж в седьмом классе было!

— Ну и что. Благодарность срока давности не имеет.

Гоша взял пирожок, откусил и задумчиво прожевал.

— Знаешь, Профессор, — пробормотал он с набитым ртом. — Ты какой-то другой стал.

— Это какой же?

— Не знаю. Взрослый, что ли. Раньше ты всё молчал, а если говорил, то про курганы и скифов. А сейчас вроде нормальный.

— Это плохо?

— Не, это хорошо, — Гоша запил пирожок компотом. — Только непонятно. Слушай, а Генку ты тоже не помнишь?

Я поставил стакан на стол.

— Какого Генку?

— Сычёва. Ну Генку же. Который из армии пришёл. Ты с ним весь март крутился. Я тебе говорил, он мутный. А ты всё: он про курганы много знает, он мне помогает. Вот и допомогался.

— Не помню никакого Генку.

— Ну и хорошо, — Гоша вздохнул. — Хорошо, что не помнишь. Я тебя в марте на мопеде до балки довёз, ты с ним там и ушёл. А на дороге, у лесополосы, серая «Волга» стояла. Пустая. Я ещё подумал: чего начальству в балке делать?

— Чья «Волга»?

— Да откуда я знаю. Серая. Номер не смотрел, — Гоша почесал затылок. — Мне тогда до лампочки было. Он мне не нравится. Он с этими, с Кулешовскими, водится. И дядька у него — Гладких, бригадир, у которого твой дед работает. Говорят, Генка у него теперь на трассе. Тоже на бульдозере.

Генка Сычёв. Из армии. Племянник Гладких. Крутился с Костей весь март.

«Г. говорит, ещё две ночи».

Пакет пополнился.

***

После уроков мы таскали металлолом. Весь девятый «Б», тридцать человек, рассыпался по окрестным улицам с тачками и носилками. Гоша где-то раздобыл тележку на подшипниках, и мы с ним отправились по дворам частного сектора. Спрашивали у хозяев: есть ли что ненужное, железное? Хозяева выносили ржавые вёдра, старые кастрюли, сломанные утюги, куски труб. Одна бабушка, маленькая, в чёрном платке, вынесла нам целую спинку от железной кровати, с никелированными шариками на углах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.